

Т. Касаткина

ЛЕБЕДЕВ — ХОЗЯИН КНЯЗЯ

— Позвольте, князь, какие ваши распоряжения? — подошел к князю Лебедев, хмельной и озлобленный до нахальства.

— Какие распоряжения?

— Нет-с; позвольте-с; я хозяин-с, хотя и не желаю манкировать вам в уважении... Положим, что и вы хозяин, но я не хочу, чтобы так в моем собственном доме... Так-с.

— Не застрелится; балует мальчишка! — с негодованием и с апломбом неожиданно прокричал генерал Иволгин.

— Ай да генерал! — похвалил Фердыщенко.

— Знаю, что не застрелится, генерал, многоуважаемый генерал, но все-таки... ибо я хозяин (8; 346).

В замечательной работе Сары Янг, посвященной анализу роли картины Гольбейна «Христос в гробу» в структуре романа «Идиот»¹, очень большое место уделено рассмотрению изменений в структуре сюжета и характере главного героя до и после шестимесячного перерыва в повествовании, о котором нам кратко и темно сообщается автором романа в начале второй части. Надо заметить, что изменения претерпевает не только главный герой — князь, но и почти все сколько-нибудь значительные в структуре сюжета действующие лица. В сущности, меняется сам план романного мира, и, конечно, на примере изменений, произошедших с главным героем, это заметно лучше всего. Укажу на некоторые из них, не отмеченные Сарой Янг.

Пожалуй, самое очевидное изменение, бросающееся в глаза — и не замечаемое при этом исследователями (а значит — и читателями), и при этом определяющее, как ключ, сам характер явления князя, — состоит в следующем. В первой части, согласно текстовым ремаркам, оговоркам и присловьям, которым герои не придают иногда (хотя иногда — придают) значения и употребляют почти как междометия, а, между тем, в силу особенностей существования слова в художественном тексте, они однозначны и открывают за собой всю полноту реальности, — так вот, согласно этим присказкам, князь является как посланник Божий. Несколько примеров. Прощание Рогожина с князем при прибытии поезда: «— Ну коли так, — воскликнул Рогожин, — совсем ты, князь, выхо-

¹ Sarah J. Young. Holbein's «Christ in the Tomb» in the Structure of The Idiot. Доклад, прочитанный на X Симпозиуме Международного общества Достоевского (Нью-Йорк, июль 1998 г.).

дишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит! — И таких Господь Бог любит, — подхватил чиновник» (8; 14). Генерал Епанчин собирается представить князя супруге и дочерям: «Ему хоть один этот день и, главное, сегодняшний вечер хотелось выиграть без неприятностей. И вдруг так кстати пришелся князь. „Точно Бог послал!“ — подумал генерал про себя, входя к своей супруге» (8; 44). Генеральша Епанчина прощается с князем в первый день знакомства: «И послушайте, милый: я верую, что вас именно для меня Бог привел в Петербург из Швейцарии. Может быть, будут у вас и другие дела, но главное, для меня. Бог именно так рассчитал» (8; 70).

Уже здесь, однако, видно прагматическое отношение персонажей к Богу и Божьему посланнику, установка на то, чтобы использовать «Божью помощь» в делах мелких, житейских, хуже — лукавых. Господь становится как бы приказчиком дел человеческих — вроде того, что пожелала от рыбки пушкинская старуха: «Чтоб служила мне рыбка золотая и была б у меня на посылках». Так что уже здесь намечается как бы втягивание Бога в пределы земного окоема — без предположения и допущения иных Его целей и намерений.

Может быть, отчасти и вследствие этого во второй части князь является в сопровождении демона, который, вроде бы, в дальнейшем исчезает из текста, но еще вопрос, куда он исчезает.

Демон, кажется, не дьявол, во всяком случае, не совсем дьявол, и различаются они, по-видимому, степенью внеположности личности. Дьявол, черт — внешняя сила, ищущая поработить личность, захватить ее, завладеть ею. Демон — сила чуть ли не порождаемая мраком личности, во всяком случае, жаждущая воплотиться, внедриться в личность, обосноваться в ней, и недаром эта фигура получает законную прописку в современной психологии (юнгианского толка). Это не окончательное логически точное разделение, но ощущение разницы, которое должно быть осмыслено. Характерно, что Ставрогин и Иван Карамазов видят «своих» бесов как нечто отличное от себя, внеположное себе, в каком то смысле — противоположное себе. Лермонтов, понимавший в таких вещах толк, описывал своего Демона как «ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет», что заставляет вспомнить рассказ Данте о тех, что, не восстав, не были и верны. Таким образом, демон — не антитеист, но атеист в буквальном смысле этого слова, не враг Господень, но безразличный. Демонами называли стихийные, естественные силы земли. И демон Мышкина нашептывает ему лишь то, что естественно подумать, если допустить победу естественных страстей в душе Рогожина².

² Существует высказывавшееся рядом исследователей мнение (аналогичное возражение прозвучало и на Петербургских чтениях 1998 г. «Достоевский и мировая культура», где мной был сделан доклад по данной теме), что «демон» князя Мышкина есть нечто аналогичное «даймону» Сократа. Но, не говоря уже о том, что у этих двух «созданий» разные функции и способы их осуществления («даймон» Сократа лишь запрещал ему определенные поступки — всегда ему на благо, а «демон» Мышкина его провоцирует, искушает), мы все же в качестве системы отсчета имеем в романе христианскую традицию, где указанное слово имеет вполне определенную отрицательную смысловую наполненность и эмоциональную окрашенность. Да и

Первое появление демона в тексте сопровождается сообщением о его изгнании: «Да, болезнь его возвращается, это несомненно; может быть, припадок с ним будет непременно сегодня. Через припадок и весь этот мрак, через припадок и „идея“! Теперь мрак рассеян, демон прогнан, сомнений не существует, в его сердце радость!» (8; 191). Демон здесь напрямую связан с надвигающимся припадком, демон — во мраке, наступающем на князя «через припадок».

Далее в событиях этой главы демон становится потайным (хотя — вполне явным!) главным действующим лицом, именно он водит и кружит князя по городу и по пространствам его сознания. Князь видит поджидающего его у дома Настасьи Филипповны Рогожина: «С ним произошла опять, и как бы в одно мгновение, необыкновенная перемена: он опять шел бледный, слабый, страдающий, взволнованный; колена его дрожали, и смутная, потерянная улыбка бродила на посинелых губах его: внезапная идея его подтвердилась, и — он опять верил своему демону!» (8; 192). Князь ретроспективно оценивает свои метания по Петербургу: «Странный и ужасный демон привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его более. Этот демон шепнул ему в Летнем саду, когда он сидел, забывшись, под липой, что если Рогожину так надо было следить за ним с самого утра и ловить его на каждом шагу, то, узнав, что он не поедет в Павловск (что уже, конечно, было роковым для Рогожина сведением), Рогожин непременно пойдет туда, к тому дому, на Петербургской, и будет непременно сторожить там его, князя, давшего ему еще утром честное слово, что „не увидит ее“ и что „не затем он в Петербург приехал“. И вот князь судорожно устремляется к тому дому <...>» (8; 193). Демон заставляет князя провоцировать Рогожина, изменяя своему слову и намерениям, демон же мешает князю подойти к только что обретенному брату и прояснить недоумения: «А почему же он, князь, не подошел теперь к нему сам и повернул от него, как бы ничего не заметив, хотя глаза их встретились <...>. Ведь отрекся же он сам от своего демона, еще идя туда, на половине дороги, когда радость вдруг наполнила его душу? Или в самом деле было что-то такое в Рогожине, то есть в целом *сегодняшнем* образе этого человека, во всей совокупности его слов, движений, поступков, взглядов, что могло оправдывать ужасные предчувствия князя и возмущающие нашептывания его демона?» (8; 193). Слово «сегодняшнем» выделено в тексте Достоевским и тоже свидетельствует о значительных переменах в образе князя, указывая и на направление этих перемен: если в первой части князь прозревает сквозь временный образ прообраз личности, то отныне «сегодняшний» образ начинает застилать прообраз плотной, непроницаемой завесой, а пытаясь за нее прорваться,

непосредственно в тексте демон Мышкина характеризуется как «странный и ужасный» — эпитеты, которые не могли быть употреблены по отношению к «даймону» Сократа.

князь всегда приходит к каким-то совсем неожиданным для настроенного первой частью читателя результатам (так в случае с Ипполитом, с Аглаей и т.д. Особенно очевидна эта слепота в сцене «смотрины», когда князя вводят в общество в качестве Аглаинового жениха)³.

Демон исчезает, и о нем больше не будет упомянуто в тексте, а на князя обрушивается, одновременно с ударом Рогожина и разверзшейся и пролившейся тучей⁴, припадок, в котором вслед за необычайным внутренним светом, озаряющим его душу из-за «чего-то» (как «из-за туч», «из-за занавесей»), разверзшегося перед ним, наступает полный мрак. Следом за констатацией наступившего мрака (как мы помним, связанного с демоном), автор описывает припадок следующим образом: «В это мгновение вдруг чрезвычайно искажается лицо, особенно взгляд. Конвульсии и судороги овладевают всем телом и всеми чертами лица. Страшный, невообразимый и ни на что не похожий вопль вырывается из груди; в этом вопле вдруг исчезает как бы все человеческое, и никак невозможно, по крайней мере очень трудно, наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит этот же самый человек. Представляется даже, что кричит как бы кто-то другой, находящийся внутри этого человека. Многие, по крайней мере, изъясняли так свое впечатление, на многих же вид человека в падучей производит решительный и невыносимый ужас, имеющий в себе даже нечто мистическое» (8; 195).

Демон, весь день преследовавший князя, проникает в него и захватывает его: сцена могла бы быть истолкована и иным образом (прямо противоположным), как схватка с демоном, вопящим от противостояния ему человека, ибо припадок приходит после слов: «Парфен, не верю!...»⁵

³ Как пишет Сара Янг, «в Мышкине перемена бросается в глаза с первой же страницы второй части: перемена везет от его новой модной одежды, указывающей на *сдвиг в область сферы временного*, от его озабоченности и спешки». (Сходное наблюдение, как указывает автор, см.: *Dennis P. Slattery. Dostoevsky's Fantastic Prince: A Phenomenological Approach*. New York: Lang, 1983. P. 79.)

⁴ Вот что пишет о связи удара Рогожина и прихода эпилептического припадка Ю.И.Мармеладов (не отменяя, кажется, связи с тучей): «Нападение Рогожина и падение Мышкина с лестницы происходят как раз в тот момент, когда Мышкин остро ощущает свой грех, свою вину перед Рогожиным. Нож Рогожина занесен над Мышкиным как молния грозного пророка Ильи, как напоминание о его собственных грехах и о греховности всего рода человеческого». (Ю.И.Мармеладов. Тайный код Достоевского. Илья-пророк в русской литературе. СПб., Петровская Академия Наук и Искусств, 1992. С. 87.) Пользуясь случаем, благодарю Дмитрия Андреевича Достоевского, обратившего мое внимание на эту книгу.

⁵ Поскольку слово, особенно слово князя, в романе работает *вперед*, сотворяя романную реальность, то это «не верю» становится как бы запретительной заклинательной формулой, останавливая жест Рогожина и — тем самым — обращая его на Настасью Филипповну. Князь отказывается быть искупительной жертвой (которой только и восстанавливается прерванная человеком связь с Богом и которая — добровольная — только и делала бы персонажа воистину образом Христовым, что так эмоционально очевидно в первой части, в сцене пощечины, где князь и побеждает всех своим: «Ну, это пусть мне... а ее... все-таки не дам!...» — 8; 99), — так вот, здесь князь отказывается быть искупительной жертвой, переадресуя нож той, на которую еще в первой части направил его своими словами. В дальнейшем тексте это поку-

Но, очевидно, это позднее усилие уже не спасает князя (который «верил своему демону»), что подтверждает и результат припадка — нисхождение князя: «От конвульсий, биения и судорог тело больного спустилось по ступенькам, которых было не более пятнадцати, до самого конца лестницы» (8; 195). Схождение вниз по ступеням (тем более — сползание) традиционно символизирует деградацию, переход личности в более низкие слои реальности. Кажется, именно здесь небеса, посланником которых как бы является князь в первой части, закрываются окончательно. Демон, заключенный отныне в природе князя, и является источником всех «двойных мыслей»⁶, которые мучают и терзают Льва Николаевича на протяжении остального пространства романа, что легко доказать, ибо каждый «приступ» «двойных мыслей» сопровождается вполне узнаваемыми симптомами, впервые возникающими при преследовании князя демоном. Для сравнения — два эпизода. Возвращение князя в гостиницу перед нападением Рогожина: «Как не понравилась ему давеча эта гостиница, эти коридоры, весь этот дом, его номер, не понравились с первого взгляду; он несколько раз в этот день с каким-то особенным отвращением припоминал, что надо будет сюда воротиться... „Да что это я, как больная женщина, верю сегодня во всякое предчувствие!“ — подумал он с раздражительною насмешкой, останавливаясь в воротах. Новый, нестерпимый прилив стыда, почти отчаяния, приковал его на месте, при самом входе в ворота. Он остановился на минуту. Так иногда бывает с людьми: нестерпимые внезапные воспоминания, особенно сопряженные со стыдом, обыкновенно останавливают, на одну минуту, на месте. „Да, я человек без сердца и трус!“ — повторил он мрачно и порывисто двинулся идти» (8; 194). А вот один из приступов «двойных мыслей» вскоре после переезда на дачу, при появлении «сына Павлищева»: «Его скорее беспокоила другая мучительная для него мысль. Ему мерещилось: уж не подведено ли кем это дело теперь, именно к этому часу и времени, заранее, именно к этим свидетелям и, может быть, для ожидаемого срама его, а не торжества? Но ему слишком грустно было за свою „чудовищную и злобную мнительность“. Он умер бы, кажется, если бы кто-нибудь узнал, что у него такая мысль на уме, и в ту минуту, как вошли его новые гости, он искренно готов был считать себя, из всех, которые были кругом его, последним из последних в нравственном отношении» (8; 214).

Приведенное высказывание можно отнести на счет повышенной самокритичности князя, но вот и нейтральное замечание повествователя,

шение, в которое «не поверил» князь, даже как бы совсем становится не *бывшим*, потому что нож, заложенный в книгу при князе, вырванный Рогожиным из его назойливых в забывчивости рук, вынимается последним из книги же непосредственно перед убийством Настасьи Филипповны. Рогожин даже подчеркнет: «Он у меня все в книге заложен лежал...» (8; 505) — то есть как бы и не вынимался из нее для предыдущего покушения.

⁶ А о «двойных мыслях» весьма определенно сказано: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» (Иак. 1: 8).

высказанное по поводу поведения князя при первом появлении Евгения Павловича Радомского: «он замечал теперь все быстро и жадно и даже, может, и то, чего совсем не было» (8; 210–211).

Все «двойные мысли» князя сводимы к одному стойкому ощущению — будто кто-то сознательно и в соответствии с каким-то планом вторгается в его жизнь, руководит событиями этой жизни, из которой практически, согласно его впечатлениям, исчезают случайности, все становится согласованным с некоей целью, возможно, злонамеренной и, возможно, известной князю, но даже сознание этого возможного знания утаивается им от себя самого.

Демон, кстати, приходит не без внутреннего согласия князя. Если в первой части Лев Николаевич подчеркивает ужас и тяжесть своей болезни и настаивает на своем «почти» исцелении, отстраняясь, отгораживаясь от состояния, в которое ввергает его эта болезнь, повторяющимися репликами: «какой же я идиот!?!», «они думают, что я идиот, а я умный» и т.д. (см. также отповедь Гане), то вторая часть, как всем памятно, начинается знаменитым рассуждением князя о мгновенном состоянии перед припадком, которое он описывает как молитвенное слияние с высшим синтезом жизни, называет «красотой и молитвой». И хотя мрак, который следует за попыткой слияния «с высшим синтезом жизни» в плоскости земного бытия, стоит перед ним вопросом и угрозой, он все-таки решается настаивать на том, что эта минута стоит всей жизни.

С этого момента князь становится опекаемым жильцом Лукьяна Тимофеевича Лебедева: «Когда же, уже через час, князь довольно хорошо стал понимать окружающее, Коля перевез его в карете из гостиницы к Лебедеву. Лебедев принял больного с необыкновенным жаром и с поклонами. Для него же ускорил переезд на дачу; на третий день все уже были в Павловске» (8: 196).

Сам Лебедев очень сильно изменяется от первого своего появления ко второму. Если в первой части он предстает перед читателем как приживальщик и прихвостень, готовый на что угодно, лишь бы быть допущенным, принятым в рогожинскую компанию, то во второй части он хозяин, домовладелец, у которого поселяется князь, у родственницы которого квартирует Настасья Филипповна и который вообще, кажется, держит в руках те тайные пружины действия, о которых сам князь предпочел бы ничего не знать. Во всяком случае, он хранитель тех секретов князя, которые тот засекречивает от себя самого: «Да чего же, говорите скорей, — допрашивал князь с нетерпением, смотря на таинственные кривляния Лебедева. — В том и секрет. И Лебедев усмехнулся. — Чей секрет? — Ваш секрет. Сами вы запрстали мне, сиятельнейший князь, при вас говорить... — пробормотал Лебедев и, насладившись тем, что довел любопытство своего слушателя до болезненного нетерпения, вдруг заключил: — Аглаи Ивановны боится» (8; 199). Он двигатель или участник всех интриг, разворачивающихся вокруг князя в

романе, и на фоне расстройств, неудач и огорчений, ударов для других особенно очевидны его заинтересованность, удовольствие и восторг от происходящего. Вот несколько примеров. «Не в подарок, не в подарок! Не посмел бы! выскочил из-за плеча дочери Лебедев. — За свою цену-с. Это собственный, семейный, фамильный наш Пушкин, издание Анненкова, которое теперь и найти нельзя, — за свою цену-с. Подношу с благоговением, желая продать и тем утолить благородное нетерпение благороднейших литературных чувств вашего превосходительства.

— А, продаешь, так и спасибо. Своего не потеряешь, небось; только не кривляйся, пожалуйста, батюшка. Слышала я о тебе, ты, говорят, преначитанный, когда-нибудь потолкуем; сам, что ли, снесешь ко мне?

— С благоговением и... почтительностью! — кривлялся необыкновенно довольный Лебедев, выхватывая книги у дочери» (8; 212).

«Нет-с, они не то чтобы нигилисты, — шагнул вперед Лебедев, который тоже чуть не трясся от волнения, — это другие-с, особенные, мой племянник говорил, что они дальше нигилистов ушли-с» (8; 213).

«Пойдемте отсюда, Лизавета Прокофьевна, слишком пора, да и князя с собой уведем, — как можно спокойнее и улыбаясь, проговорил князь Щ. Девушки стояли в стороне, почти испуганные, генерал был положительно испуган; все вообще были в удивлении. Некоторые, подалее стоявшие, украдкой усмехались и перешептывались; лицо Лебедева изображало последнюю степень восторга» (8; 237).

«— Я вас целый день поджидал, чтобы задать вам один вопрос; ответьте хоть раз в жизни правду с первого слова: участвовали вы сколько-нибудь в этой вчерашней коляске или нет?

Лебедев опять закривился, начал хихикать, потирал руки, даже, наконец, расчихался, но все еще не решался что-нибудь выговорить.

— Я вижу, что участвовали.

— Но косвенно, единственно только косвенно! Истинную правду говорю! Тем только и участвовал, что дал своевременно знать известной особе, что собралась у меня такая компания и что присутствуют некоторые лица.

— Я знаю, что вы вашего сына туда посылали, он мне сам давеча говорил, но что ж это за интрига такая! — воскликнул князь в нетерпении.

— Не моя интрига, не моя,— отмахивался Лебедев, — тут другие, другие, и скорее, так сказать, фантазия, чем интрига.

— Да в чем же дело, разъясните, ради Христа? Неужели вы не понимаете, что это прямо до меня касается? Ведь тут чернят Евгения Павловича.

— Князь! Сиятельный князь! — закоробился опять Лебедев, — ведь вы не позволяете говорить всю правду; я ведь уже вам начинал о правде; не раз; вы не позволили продолжать...

Князь помолчал и подумал.

— Ну, хорошо; говорите правду, — тяжело проговорил он, видимо

после большой борьбы.

— Аглая Ивановна... — тотчас же начал Лебедев.

— Молчите, молчите, — неистово закричал князь, весь покраснев от негодования, а может быть, и от стыда. — Быть этого не может, все это вздор! Все это вы сами выдумали, или такие же сумасшедшие. И чтоб я никогда не слышал от вас этого более!» (8; 259–260).

Изменяется и характер «науки», которая составляет суть и основу жизни этого персонажа. При первом знакомстве в поезде (тут а'propos надо заметить, что два центральных персонажа романа появляются сразу в сопровождении (во всех смыслах — сопровождении — и в тексте, и в вагоне поезда) Лебедева, и в первой части все встречи их происходят в его неперемennom и обязательном присутствии; во второй и следующих частях связи между всеми персонажами, взаимоотношения между которыми составляют неявленную читателю основную ветвь повествования, осуществляются через Лебедева и его семью⁷), так вот, при первом знакомстве читателя с Лебедевым сообщается, что «соблазнительная наука», его занимающая, наука, которой многие «положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства», в которой многие «обретают свои высшие примирения и цели» (8; 8) — это наука о том, «где служит такой-то, с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится» и т.д. Во второй же части Лебедев сразу предстает перед нами как «профессор Антихриста», толкователь Апокалипсиса, известный мрачными сбывшимися предсказаниями. При этом он также — «адвокат дьявола»: защитник в суде ростовщика против обобранной тем старухи, перевирающий слова манифеста Александра II «правда и милость да царствуют в судах» — и призывающий милость для попраiania правды.

Существеннейшее для романа смысловое напряжение возникает между этой защитой в суде и молитвой Лебедева за упокой графини Дюбарри. В сюжете о графине Дюбарри сходятся центральные идсид, занимавшие внимание читателя на протяжении первой части романа: о достоинстве грешницы, о смертной казни и о вине и невинности. История Дюбарри должна быть рассматриваема как параллель истории

⁷ Сара Янг, анализируя разные планы сюжетного действия, называет присутствующую в тексте середину «фальшивой», а настоящую — «скрытой», «утаенной», ибо главный сюжет уходит из поля зрения читателя и тем не менее каким-то образом продолжает ощущаться как главный. Лебедев и его семейство причастны именно к главному сюжету, и поэтому, активно присутствуя во всех событиях «фальшивой» середины, они там как бы остаются в тени, вернее — как бы выступают туда из тени главного сюжета и потому не так заметны по сравнению с остальными. Вообще, характерно для построения «Идиота», что главный сюжет уходит в скрытое существование, а на поверхности бурлят страсти (и еще какие!), приковывающие внимание читателя и все же все время оставляющие его в понимании, в ощущении того, что это — не главное, что явленная жизнь — не главное, а главное — то, что скрыто под этим бурлением и тайно продолжает свой ход на протяжении всего романа.

Мари, открывающей первую часть романа, и эти своеобразные заставки к романному действию опять—таки отражают произошедшую перемену в плане романного мира. В отличие от Мари, Дюбарри благодаря своему падению достигает всей мыслимой земной власти и славы, равняется с царствующими мира сего и принимает услуги от служителей мира горнего (вспомните кардинала, надевающего ей чулочки на леве—дюруа, почитая за честь!), то есть возводится на престол земной и чуть ли и не небесный. В отличие от Мари, для которой смерть стала прощением и торжеством, к Дюбарри смерть приходит сопровождаемая величайшим унижением души («Encore un moment, monsieur le bourreau...»), за которое, как утверждает Лебедев, ей Господь, может, и простит, «ибо дальше этакого мизера с человеческою душой вообразить невозможно» (8; 164). (Это, заметим в скобках, и два образца поведения и постановки себя в мире, между которыми мечется Настасья Филипповна, внешним образом следуя в каждой части ее «заставке»).

Но вернемся к Лебедеву. «Профессор Антихриста», выступая молитвенником за великую грешницу, которую сознает родственной душой себе — великому грешнику, вызывает в князе и в читателях умиление и сочувствие, вызывая, однако, отвращение в качестве ходатая за ростовщика. Надо думать, что если бы Дюбарри скончала свои дни в мире и благоденствии, то за ее душу не нашлось бы молитвенника. Отсюда ясно, что милость может восторжествовать лишь после торжества правды. В противном случае это будет нечто другое. Но в расплущенном мире второй части, в спавшемся мире Гольбейнова Христа, в мире, лишенном вертикали, все противопоставленные понятия начинают перверсивно смешиваться. Так, например, в лекции Аглаи, посвященной «Рыцарю бедному...» (8; 207), способность прозревать идеал в падшей природе перверсивно приравнивается, подменяется «способностью» слепо обманываться, заблуждаться на ее счет («в том—то и заслуга, что если б она потом хоть воровкой была, то он все—таки должен был ей верить и за ее чистую красоту копыя ломать»).

Образ мира, в котором предстоит пребывать князю до тех пор, пока он не выйдет из него, вновь пройдя через дом Рогожина (вообще, последовательность здесь такова: князь прибывает по вызову Лебедева (а в первой части, как мы помним, Бог привел и Бог послал), причем его прибытие характеризуется весьма интересным замечанием: «Происходило это уже почти перед самым вторичным появлением нашего героя на сцену нашего рассказа. К этому времени, судя на взгляд, бедного князя Мышкина уже совершенно успели в Петербурге забыть. Если б он теперь вдруг явился между знавшими его, то как бы с неба упал» (8; 155). Он проходит через дом Лебедева, к чему мы сейчас вернемся, затем проходит через дом Рогожина, в котором скрываются как бы две возможности, символизируемые одна «Мертвым Христом», другая — матушкой Рогожина (еще одной иконой Богоматери в романе). Поддавшись демону, поверив торжеству низшей природы в душе Рогожина,

он запирает мир в рамки этого мира, оказываясь во власти «профессора Антихриста», у которого и пребывает до тех пор, пока опять не войдет в дом Рогожина, чтобы провести с ним ночь перед закланным Агнцем, предпочевающим торжество смерти позорному торжеству мирскому, и где князь и Рогожин вновь затворят двери, отгораживая мертвое тело от пришедшего духа), так вот образ этого мира явлен нам в описании «гостиной» Лебедева «обитой темно-голубого цвета бумагой и убранной чистенько и с некоторыми претензиями, то есть с круглым столом и диваном, с бронзовыми часами под колпаком, с узеньким в простенке зеркалом и с стариннейшею небольшою люстрой со стеклышками, спускавшеюся на бронзовой цепочке с потолка» (8; 159).

На самом деле все предметы в этом описании (включая бумагу, которой обиты стены) значимы, но я остановлюсь пока лишь на двух из них; часах и зеркале.

Итак, часы под колпаком, напоминающие о должном прийти моменте, когда «времени больше не будет», и в то же время являющие собой образ земного времени, замкнувшегося от вечности, закрывшегося и отделившегося, сотворившего свой заверченный мир вне связи с вечностью. Зеркало в простенке символизирует, по сути, то же самое. Зеркало вместо двери, заворачивание мира на себя, там где кажется — проход, выход (простенок!). Недаром в доме, где есть новопреставленный, занавешивают зеркала — душа, приняв зеркало за выход, будет обречена безвыходно блуждать в этом мире, вместо восхождения в мир иной. Такой мир сулит лебедевский дом князю, такой мир и обретает князь, оказавшись у Лебедева. Надо сказать, что Лебедев честно пытается сделать его земным раем. На террасе дачи, которую он сдает князю, «было наставлено несколько померанцевых, лимонных и жасминовых деревьев в больших зеленых деревянных кадках, что и составляло, по расчету Лебедева, самый обольщающий вид» (8; 196). Это тот самый «земной рай», на который, по словам князя Щ., рассчитывал Мышкин: «Милый князь, — как-то опасно подхватил поскорее князь Щ., переставившись кое с кем из присутствовавших, — рай на земле не легко достается; а вы все-таки несколько на рай рассчитываете; рай вещь трудная, князь, гораздо труднее чем кажется вашему прекрасному сердцу» (8; 282).

Лебедев же буквально оказывается «владельцем» князя, возмущающегося: «Вы точно меня себе присвоили, что держите под замком» (8; 198). И свое владение он бдительно охраняет: «Но те же самые предосторожности, как относительно князя, Лебедев стал соблюдать и относительно своего семейства с самого переезда на дачу: под предлогом, чтобы не беспокоить князя, он не пускал к нему никого, топал ногами, бросался и гонялся за своими дочерьми, не исключая и Веры с ребенком, при первом подозрении, что они идут на террасу, где находился князь, несмотря на все просьбы князя не отгонять никого.

— Во-первых, никакой не будет почтительности, если их так рас-

пустить; а во-вторых, им даже и неприлично... — объяснил он, наконец, на прямой вопрос князя.

— Да почему же? — усовещевал князь. — Право, вы меня всеми этими наблюдениями и сторожением только мучаете. Мне одному скучно, я вам несколько раз говорил, а сами вы вашим непрерывным маханием рук и хождением на цыпочках еще больше тоску нагоняете.

Князь намекал на то, что Лебедев хоть и разгонял всех домашних под видом спокойствия, необходимого больному, но сам входил к князю во все три дня чуть не поминутно и каждый раз сначала растворял дверь, просовывал голову, оглядывал комнату, точно увериться хотел, тут ли? не убежал ли? и потом уже на цыпочках, медленно крадущимися шагами, подходил к креслу, так что иногда невзначай пугал своего жильца. Беспременно осведомлялся, не нужно ли ему чего, и когда князь стал ему наконец замечать, чтоб он оставил его в покое, послушно и безмолвно оборачивался, пробирался обратно на цыпочках к двери и все время, пока шагал, махал руками, как бы давая знать, что он только так, что он не промолвит ни слова и что вот он уж и вышел, и не придет, и, однако ж, чрез десять минут или, по крайней мере, чрез четверть часа являлся опять» (8; 197).

Здесь мы только подбираемся к анализу фигуры Лебедева, которая весьма сложна и даже — говорю в абсолютно точном значении слова — амбивалентна. Но в чьей власти оказывается князь — уже ясно. Кстати, это высказано в романе прямыми словами: «Он предчувствовал, что если только останется здесь хоть еще на несколько дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно, и этот же мир и выпадет ему впредь на долю» (8; 256).